

В этот самый момент я уже сидел в этом тесном кресле. Всего десяток-другой часов — и я увижу отца. Этого было достаточно. Самолёт с ревом взмыл ввысь, а я погрузился в глубокий сон под этот оглушающий гул. В каком-то полусне передо мной встало зимнее утро: я сижу на багажнике велосипеда, вцепившись руками в полы отцовской ватной куртки. Отец с трудом крутит педали, изо всех сил борясь со встречным ледяным ветром, в котором кружатся мелкие снежинки. Я прячу лицо в мягком хлопке его куртки. Ветер свистит все яростнее, пронзительный гул всюду режет слух.

И снова — полубытьё: снег прекратился, небо необычайно прояснилось. Я сижу на каменном бортике колодца перед домом и провожаю взглядом удаляющуюся согбенную фигуру матери. Я плачу, зову её, она оборачивается, машет мне рукой, но не останавливается. Заливаясь слезами, я поворачиваю назад и утыкаюсь в широкую, надёжную грудь отца.

Буря все еще бушует. Я понемногу прихожу в себя, и заунывный вой ветра превращается в рев самолетных двигателей. Огни в салоне погашены, беспокойные пассажиры давно утихли, лишь изредка раздаётся чей-то тонкий плач младенца — пронзительный донельзя, отчего-то даже жуткий. Я тихонько отдергиваю шторку иллюминатора и прижимаюсь лбом к ледяному стеклу. В черной ночной выси видна лишь одна-единственная звезда — прямо посреди неба, невероятно яркая.

Самолет приземлился в аэропорту Столичный уже в четыре часа пополудни. Небо было пасмурным, солнца не разглядеть. При мне была лишь маленькая ручная кладь, никакого багажа я не сдавал, так что выскочил из аэропорта чуть ли не первым.

Усевшись в такси, я смотрел, как за окном проносятся назад стройные тополя, как многоэтажки вдоль Восточной третьей кольцевой дороги и проспекта Чанъаньцзе наваливаются на меня тяжелыми грозowymi тучами, отчего становится трудно дышать. Машинка марки «Шали» свернула с Цзяньгомынь на Вторую кольцевую. Наконец я снова увидел древнюю Пекинскую обсерваторию. Она была прямо передо мной — до того близко, огромная и до боли отчетливая, что мне стало немного не по себе. Я торопливо отвел взгляд. Замечал ли я, ползет ли внизу еле-еле поезд? Не знаю.

Когда я примчался в больницу Тунжэнь, солнце еще не до конца село. Медсестра на регистратуре сказала, что состояние отца крайне тяжелое и сейчас он находится в палате интенсивной терапии. Я бросился бежать в указанном ею направлении, и дорожный чемоданчик вдруг превратился в неподъемную ношу, путающуюся за спиной. Встречные врачи и медсестры хмуро махали мне руками, призывая не шуметь и не тревожить больных. Я поспешно замедлил шаг, чемодан со всего маху ударил меня по пяточной кости, пронзительная боль обожгла ногу, и к глазам подступили слезы — точь-в-точь как в детстве, когда обиженный на улице бежишь домой, ожидая отцовской ласки. Сколько же горьких обид скопилось в моем сердце за те дни, что я провел в разлуке с домом? Но сможет ли отец теперь прижать меня к груди и утешить, как бывало в мои детские годы?

Вот она, палата реанимации. У меня перехватило дыхание. Я протянул руку, чтобы открыть дверь, но пальцы соскользнули с ручки. Я просто отдернул руку и глубоко вздохнул. Со второй попытки мне все же удалось распахнуть дверь. Кажется, в комнате стояло не одна койка, но занята была лишь самая дальняя.

На ней лежал старый, иссохший человек, опутанный бесчисленными трубками. Седина его волос напоминала занесенную тонким слоем снега землю в парке Тяньтань.

— Папа!

Мне казалось, я закричу во всю мовь, но с пересохших губ сорвался слабый, безжизненный хрип. Я думал, что брошусь к нему со всех ног, но стоило сделать шаг, как ноги налились свинцом, словно их кто-то удерживал.

Я услышал, как кто-то окликнул меня:

— Братец Сяодун!

Из тени в углу вынырнула фигурка. Это Сяолянь. По её щекам катились слезы, ярко блестя в свете люминесцентной лампы.

Вообще-то в комнате было очень светло. Но секунду назад, когда я только вошел в эту просторную палату, я видел лишь отца, лежавшего на больничной койке, и напрочь не заметил сжавшуюся в комочек в углу Сяолянь.

Отец лежал тихо-тихо, плотно закрыв глаза. Больше половины лица скрывала громоздкая кислородная маска. Сяолянь сквозь слезы рассказывала мне: отец ведь чувствовал себя отлично, а позавчера вдруг потерял сознание и до сих пор не приходит в себя. Врачи говорят, надежды почти нет.

— Ждал тебя, чтобы ты хоть глянул на него... Он никого не узнает, только Лю Вэю и позвонил...

— Сяолянь уже рыдала навзрыд. — Сяодун... братец Дун, я боюсь... боюсь...

В глазах у меня вдруг поплыло, все вокруг словно выцвело, превратилось в белесое пятно. Я судорожно ухватился за каркас кровати, силясь сохранить рассудок. Сяолянь понемногу успокоилась, но продолжала твердить одно и то же:

— Дедушка ведь такой крепкий был, утром встал, съел яичницу, которую я ему пожарила... Еще несколько дней назад всё хорошо было, я ему яичницу приготовила, ухаживала за ним...

Грудь словно придавило тысячефунтовым грузом, от этой тяжести всё тело медленно оседало вниз. Я больше не мог стоять и рухнул на край кровати.

Долго-долго я молча смотрел на отца. Он по-прежнему лежал неподвижно, на лице — ни единой эмоции. Время утекало секунда за секундой. Сердце волочилось за тяжелым камнем, грозя совсем потерять чувствительность.

Вдруг отцовские ресницы едва заметно дрогнули. На стоявшем у изголовья мониторе сердечного ритма побежала неровная кривая. Я изо всех сил замахал Сяолянь, и та с визгом

бросилась в ординаторскую.

Я вскочил, прижавшись к изголовью, и крепко сжал отцовскую руку. Жесткие мозоли на его ладони больно впились в мою кожу. Врач и две медсестры быстрым шагом последовали за Сяолянью в палату. Они засуетились вокруг отца, а его лицо под кислородной маской вдруг начало подергиваться в судорогах!

Я не понимал, что они делают, и тем более не знал, чем могу помочь сам, — я лишь изо всех сил сжимал отцовскую руку. Так же отчаянно и панически я цеплялся за его ладонь в детстве, когда отец приводил меня в парк покататься с горки, боясь, что стоит мне разжать пальцы — и я потеряю его навсегда.

Сяолянь плакала, о чем-то умоляя врачей. Я не разбирал слов. Кажется, я вообще больше ничего не слышал.

Наконец доктор положил руку мне на плечо и произнес:

— Больной уходит, дайте послушать, что он хочет сказать.

С этими словами он снял с лица отца кислородную маску. Выражение лица отца чуть разгладилось, уголки рта действительно подрагивали, глаза вроде бы тоже слегка приоткрылись.

Я с дрожью наклонился, прижавшись ухом к губам отца. Голос у него был тихий, призрачный, несомый крошечным потоком воздуха, он с перебоями доносился из самых глубин горла. Я напряг весь слух, но смог разобрать лишь обрывки слов:

— Дун... диплом... обзавестись семьей...

Я прижался губами к отцовскому уху и тем же едва слышным дыханием прошептал ему в ответ:

— Папа, я все понял. Папа, папочка, спи спокойно!

Я сдержал слезы, не желая, чтобы отец услышал мои всхлипывания.

Уголки отцовских губ застыли.

И его ресницы.

И седина на висках.

И морщины на лбу.

Всё замерло.

Внезапно перед глазами возник наш балкон. Я увидел себя, стоящего на балконных перилах с раскинутыми в стороны руками. Я увидел, как отец стаскивает меня вниз, как его шлепок приходится мне по мягкому месту — звук громкий, но боли почти нет. Я увидел, как отец крутит педали велосипеда, согнув спину и сопротивляясь ревящему северному ветру.

Я увидел наш хлам в кладовке, увидел дневник А Лань, увидел Лань, увидел Хуэй, увидел их тени, вплетенные в мои эгоистичные грёзы. Но в моих эгоистичных грезах уже так давно не появлялась фигура отца!

Я вспомнил тот знойный летний день и разочарованный взгляд отца. Он смотрел, как я бросаю его и в одиночку уезжаю обратно в университет.

А еще я увидел отца, стоящего на занесенной снегом земле в парке Тяньтань и улыбающегося в объектив фотоаппарата в руках Сяолян. Он говорил: «Когда будешь нажимать на затвор, не трясись руками, постарайся снять меня целиком! Сделай четко, чтобы я мог отослать карточку Сяодуну...»

Я видел всё.

И я больше ничего не мог увидеть!

Перед глазами стояли лишь застывшие седые волосы, застывшие губы, застывшие морщины! Застывшие настолько прочно, что даже эта знойная летняя ночь была бессильна их растопить!

Я протянул руки и обнял отца за плечи. Мне нужно было повернуть его на бок. В такую жару он слишком долго пролежал в этом положении.

Все эти годы я ничего для него не делал. Даже слов, что он мне говорил, толком не запомнил. Единственное, что я мог сейчас сделать — это перевернуть его. Ему ведь наверняка жарко, позвольте мне помочь ему перевернуться!

Вокруг зашумело. Кто-то обхватил меня за талию, кто-то подхватил под руки. Меня силой пытались оттащить от отца! Я ведь всего лишь хотел повернуть его на бок, в такую духоту он так долго лежал на спине, уставившись в потолок!

Я отчаянно отбивался, но отец отдалялся все дальше и дальше, пока седина на его висках и морщины на лбу не растворились в тумане.

Меж нами легла пустая комната.

В один миг вся тяжесть, что давила на мое сердце, обрушилась разом. И те крохи чувствительности, что еще теплились во мне, накрыли меня с головой разрушительной лавиной.

Я уткнулся лицом в ладони.

Слезы просочились сквозь пальцы. Стекая по тыльной стороне ладоней, они щекотали кожу.

Глубокой ночью того же дня я в одиночестве бродил по крыше нашего дома. Когда я поднялся наверх, стояла глубокая ночь, и с неба редкими каплями сеялся мелкий дождь. Вечернюю духоту как рукой смахнуло ночным ветром.

С каких это пор летними ночами в Пекине стал моросить затяжной дождь? Почему в моей памяти дождливые летние ночи всегда сопровождались громом и молниями? Наверное, в прошлые годы такие дождливые ночи тоже случались. Это моя память донельзя ненадежна. Или, может, это вновь происки дневника А Лань? Разве не много раз в ночи, раскалываемые громом и молнией, я читал при свете свечи ту потрепанную тетрадь?

А сейчас с неба падал лишь мелкий дождь. Настолько мелкий, что было непонятно: то ли идет дождь, то ли это просто густой туман.

И вот я стоял один в этом тумане, тупо глядя на спешащие машины на Второй кольцевой и ярко освещенную строительную площадку вдалеке. Бесчисленные темные силуэты высоток тайком росли вокруг, вытягиваясь все выше и выше. Они уже переросли пятиэтажную крышу и, казалось, вот-вот поглотят этот клочок пространства.

Я простоял так долго, что ноги затекли. Тогда я опустился на жесткий бетон крыши и обхватил колени руками. На этот раз я не подходил к самому краю крыши и не раскидывал руки. Впервые в жизни, глядя на снующие внизу фары, я почувствовал страх. Эти автомобили были заняты своими делами и не замечали, сколько глаз глядит на них из темноты выстроившихся впотьмах громадин.

Мне стало жутко подходить к обрыву. Теперь отец уже не придет останавливать меня. Без отцовского запрета я и впрямь мог бы сорваться вниз, потревожив спешащий поток машин. Но вряд ли разбудил бы этот город, который вот-вот погрузится в сон.

Бетон крыши намок от дождя. Холодная влага просочилась сквозь ткань штанов к коже, и это зябкое ощущение напомнило полчища ползающих муравьев. Очень скоро они добрались до самого сердца, забрались в костный мозг. Там, добравшись до миокарда и костей, они принялись немедленно глотать их.

Кто взрастил этих крошечных насекомых и натравил на меня?

Они заглядывали ко мне не впервые.

Это я. Я сам! Это я взрастил их. Это я кормил их собственными мышцами и костным мозгом!

Но зачем я продолжаю торчать на этой крыше, позволяя паразитам терзать меня? Уйти бы. Но куда подаваться, если действительно уйти? Вниз? Под блеклые уличные фонари? Или домой? Вернуться в заваленный ненужным хламом дом? В тот самый дом, где я отыскал дневник А Лань?

Разве это по-прежнему мой дом? Без отца можно ли назвать это место домом? Я и вправду не знал, куда идти дальше.

В этот момент за спиной послышались шаги. Шаги уверенные, до боли знакомые... Неужели отец? Неужели он все еще тревожится за меня, забравшегося на высоту?

Но у меня не было сил обернуться. Тысячи муравьев по-прежнему грызли мои кости и мышцы. К тому же мне было страшно: вдруг любое мое движение спугнет этот размеренный шаг, и он навсегда растает в этой темной дождливой ночи?

Я изо всех сил сдерживал тело, удерживая остывшую позу, позволяя муравьям терзать мое сердце и кости.

Шаги наконец затихли рядом со мной. Я по-прежнему смотрел на вереницу фар на Второй кольцевой.

Он придвинулся вплотную и медленно опустился рядом. Затем протянул руку и обнял меня за плечи. Я уловил исходящий от него слабый запах сигарет. В ту же секунду тысячи муравьев изо всех уголков моего тела разом бросились в нос и скатились вниз горячими слезами.

Его рука слегка сжалась. Мое тело, и без того выточенное крошечными насекомыми до состояния источенного морским ветром песчаного замка, окончательно рухнуло в его крепкие, широкие объятия.

Я пытался взять себя в руки. Но слезы, в которые превратились те муравьи, потоком хлынули наружу, не переставая струиться и струиться.

Я ненавидел себя еще сильнее. Как мог даже высохший песчаный замок разрушиться от легчайшего дыхания морского ветра? К тому же я верил, что по-прежнему ненавижу его — пожалуй, даже сильнее, чем раньше. Из-за него я покинул родные места, покинул отца. Как могли мои слезы пропитать его рубашку?

Но иссушенный замок обратился в горсть песка, и у меня больше не было сил сопротивляться.

Он гладил меня по спине и тихо шептал:

— Сядун, ты похудел.

Я молчал. Мне оставалось лишь молчать.

Много лет назад в такой же вечер мы были здесь вдвоем. Он обнимал меня за плечи. Его лицо прижималось к моему уху.

В ту ночь я читал при свете свечи дневник А Лань.

В ту ночь сверкали молнии, гремел гром и бушевала буря.

Почему? Моя проклятая память столько лет услужливо хранила лишь это, напрочь позабыв то, что отец говорил мне в ночь моего отъезда из Пекина?

Я наконец вырвался из его объятий. К счастью, он не стал меня удерживать. Мы по-прежнему сидели плечом к плечу. Мое плечо плотно прижималось к его плечу.

Дождь невесть когда прекратился. Огни машин на Второй кольцевой почти исчезли. Изредка мелькали лишь единичные огоньки — словно блуждающие призраки, они в спешке проносились мимо.

Постепенно на краю небосклона забрезжила белая полоса.

Я произнес:

— Рассветает.

Он ответил:

— Да, новый день. Наверное, будет солнечно.

Я перевел дыхание. Он, кажется, тоже вздохнул свободнее.

Мы завели неторопливый разговор. Слово два старых соседа, случайно встретившиеся у порога и ничуть не удивленные этому, — раз уж все равно никуда спешить не надо, почему бы не присесть и не поболтать о пустяках?

Он рассказал, что они с Цзяхуэй поженились на прошлой неделе. Еще сообщил, что Цзяхуэй оформляет документы на выезд за границу и Мичиганский университет уже зачислил ее, осталось лишь уладить формальности. Правда, на следующей неделе она уже сможет пойти в посольство за визой.

— Мы поженились до ее отъезда, — сказал он, — так что через несколько месяцев я смогу подать документы на гостевую визу в Штаты.

Я слушал молча, с таким безмятежным сердцем, в которое сам не мог поверить. Неужели все те насекомые, что источивали мое тело, и впрямь уплыли вместе со слезами?

Он добавил:

— Сяодун, когда я уеду в Америку, мы сможем видеться гораздо чаще.

Я не до конца понял смысл этих слов. Но мне помнилось, будто я уже где-то слышал их. То ли Вэй говорил мне об этом, то ли я вычитал в дневнике А Лань? А может, во сне? Если во сне, то

уже и не разобрать, чьи это были слова.

Но как бы то ни было, в эту минуту я сидел на крыше своего дома, глядя на великолепную зарю на горизонте. К тому же перед уходом отец сказал мне: окончить учебу, обзавестись семьей. Тем более что он и Цзяхуэй уже поженились.

Я горько усмехнулся и кивнул:

— Не переживай. Пока ты не уедешь в Штаты, я как следует позабочусь о Цзяхуэй.

Вдруг я вспомнил, что должен его поблагодарить:

— Спасибо. За то, что все это время заботился о моем папе.

Он ничего не ответил. Я изо всех сил вглядывался в линию горизонта, не поворачивая головы. Наконец ярко-красное солнце выпрыгнуло из-за крыши напротив, ослепительно яркое.

И впрямь наступил новый день. Солнечный день.

Мой билет в Америку был куплен заранее. В Пекине я отвёл себе ровно неделю. Раньше я думал, что придется продлевать поездку, но теперь в этом не было нужды. Так что я пробыл в Пекине всего одну неделю.

Всего за одну ночь мой дом словно испарился из этого раздувающегося города. Пережив ту ночь, когда утреннее солнце выпрыгнуло из-за крыши противоположного дома, я вдруг почувствовал, что всё вокруг при дневном свете стало донельзя чужим. И мне захотелось поскорее покинуть этот город.

В то утро мы спускались с крыши. Проходя мимо моей двери, Вэй бросил:

— Когда улетаешь? Я провожу.

Я ответил:

— Не нужно. Цзяхуэй ведь тоже скоро уезжает, лучше побуди с ней.

Он кивнул. На этом мы и попрощались.

Наше прощание вышло предельно коротким. Всё как у случайных соседей: наболтались вволю — и разошлись каждый по своим делам, без малейшего сожаления о расставании. К тому же разве он не говорил, что вскоре мы сможем видеться часто?

В оставшуюся неделю я старался без нужды не выходить из дома, занимаясь лишь самыми необходимыми делами. В квартире я был один — Сяолян уехала в деревню к родным.

Я собирался разобрать вещи. Старый хлам по-прежнему громоздился на прежнем месте, разве что в объеме заметно прибавил. И снова вспомнилось детство, когда я в одиночку копался в этих залежах. А ведь тогда мне так хотелось поиграть с детьми со двора, пусть они и отняли у меня пластиковый меч и игрушечный автомат. Но отец неизменно запирали меня дома одного.

Мне всё меньше хотелось браться за уборку этого хлама. Кто знает, что еще обнаружится среди рухляди?

До самого дня отъезда я просидел взаперти. В квартире все оставалось ровно так же, как неделю назад.

Затащив чемодан в такси, я назвал водителю пункт назначения. Сначала я собирался в аэропорт. Но в этот момент в голове вихрем пронеслись десятки названий: парк Цинхуаюань, Старый летний дворец, храм Вофо, американское посольство... однако с языка сорвалось помимо моей воли:

— Парк Цзичжюань.

Машина выехала на Вторую кольцевую.

Зачем я вспомнил про посольство? Зачем ляпнул про Цзичжюань? — спрашивал я себя.

Неужели опять проделки того проклятого дневника? Теперь, когда я потерял отца, я все еще не могу забыть эту тетрадь?

Я поспешно попросил водителя ехать прямо в аэропорт Столичный. Зажмурившись, я уткнулся лицом в ладони. До чего же мне было стыдно перед самим собой.

Наверное, такси снова промчалось мимо древней обсерватории. Но на сей раз я проглядел её. И потому так и не узнал, полз ли внизу хотя бы один поезд.

Выйдя из зоны таможенного досмотра сквозь толпу встречающих, я заметил А Вэня. Он стоял посреди плотной толпы, запрокинув голову и растерянно озираясь по сторонам.

Обычно порядок в Детройтском аэропорту не был столь хаотичным. Но стоило прилететь рейсу из Азии, как всё менялось.

Через головы людей наши взгляды встретились. В его глазах читалась глубокая тревога.

Я ведь не называл ему точную дату возвращения в Штаты. Я лишь обмолвился, что пробуду недели две-три, а когда возьму обратный билет, отправлю ему электронное письмо.

Но тогда, в Пекине, я совсем забыл об этом. Да и откуда мне было знать, где в Пекине отправить email? За ту короткую неделю я, за исключением неотложных дел, сидел взаперти, глядя на те самые груды хлама, казалось, ставшие частью другого столетия.

И тем не менее сейчас, сквозь ряды незнакомых лиц, я видел его. Неужели, провожая меня тогда, он внимательно изучил мой билет? И пусть от меня не пришло письмо, он все равно явился в аэропорт точно по дате обратного рейса, рискуя впустую потратить время и никого не дожидаться?

Меня проняло до глубины души.

<http://bllate.org/book/21154/2144370>